СТЕПЬ, КОТОРАЯ ПЕЛА



Aleksandr Demidov

Aleksandr Demidov

Степь которая пела

«Автор»
2026

Demidov A.

Степь которая пела / A. Demidov — «Автор», 2026

Джейн МакЭвой читает то, что не может прочесть никто. Лондонский эпиграфист, звезда SOAS, она всю жизнь верит в одно: любой молчащий текст сдаётся методу.Пока старый друг из Sothebys не показывает ей оттиски с потерянного камня. Сто лет назад их объявили подделкой, а человека, который снял их в казахской степи, затравили до смерти. До торгов две недели. Самый уважаемый учёный в её области мягко просит не браться: «Вас будут помнить по тому, где вы ошиблись».Джейн берётся. Ни один ключ к тексту не подходит, и она летит в Казахстан — в страну, откуда родом её мать. Там у Джейн своё лицо, но язык чужой, а родня, которую она не помнит, встречает её как свою.Разгадку Джейн найдёт не в архиве. Однажды за приоткрытой дверью девочка споёт ребёнку колыбельную, и Джейн с ужасом поймёт, что знает эту песню.Это роман о тайне древнего письма, о правде, которую невозможно доказать, и о том, что иногда легче прочесть мёртвых, чем позвонить живой матери.

© Demidov A., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава первая 6
Глава вторая 9
Глава третья 11
Глава четвёртая 13
Глава пятая 15
Конец ознакомительного фрагмента. 16

Aleksandr Demidov
Степь которая пела

Aleksandr Demidov
СТЕПЬ, КОТОРАЯ ПЕЛА
роман

Глава первая

Она любила момент, когда становилось видно, что они не верят.

Двенадцать человек в полукруге, ноутбуки, кофе в бумажных стаканах, лондонский дождь на высоких окнах Торнхо-стрит. На экране — прорисовка таблички, глина цвета мокрого песка, ряды значков, которые для них пока были узором. Джейн дала им посмотреть ровно столько, чтобы узор надоел.

— Никто не знал, какой это язык, — сказала она. — Это важно. Не «не могли прочесть» — не знали даже, на каком языке молчит. Вентрис думал, что этрусский. Ошибался. Он ошибался почти до самого конца, и именно поэтому у него получилось.

Она подошла к доске. Не к экрану — к доске, к мелу, потому что рука должна двигаться, когда думаешь, иначе мысль остаётся в горле.

— Дешифровка — это не чтение. Читать нечего. — Мел стукнул. — Это поиск того, что повторяется, там, где ты ещё не знаешь, что значит хоть что-нибудь. Ты не спрашиваешь: «Что здесь написано?» Слишком рано. Ты спрашиваешь: что стоит рядом с чем? Что приходит только в начале? Что меняет хвост, когда меняется соседнее?

Мальчик у окна — второй год, способный, знает это — поднял руку.

— Частотный анализ.

— Нет. — Она сказала это мягко, но он опустил руку так, будто обжёгся. — Частота — это когда у тебя уже есть язык и ты ищешь буквы. А у Вентриса не было языка. Частота вам скажет, какой значок частый. И соврёт. Самый частый значок на этих табличках не значит ничего — это разделитель, пустое место между словами. Начни с частоты — и первое, что ты примешь за важное, окажется тишиной.

Кто-то засмеялся. Она не улыбнулась в ответ, но внутри что-то отпустило — они начинали слышать.

Она набросала на доске сетку. Пятнадцать на десять, грубо. Значки — по звучанию гласных вниз, по согласным вбок, решётка, в которой ещё нет ни одного звука, только отношения, только «этот ведёт себя как тот». Рука шла сама. Она делала эту сетку столько раз, что могла бы во сне, и всё равно каждый раз в ней тихо звенело: вот так, из ничего, из того, что одна закорючка упрямо держится за другую, поднимается целый язык, на котором три тысячи лет никто не сказал ни слова вслух.

— Он не искал смысл, — сказала она, не оборачиваясь. — Смысл приходит последним. Он искал структуру. Кто с кем стоит. И когда структура сошлась — язык оказался греческим. За четыреста лет до алфавита. Люди читали таблички и не знали, что читают собственных предков.

Она отступила от доски.

— А знаете, что было на табличках? — Пауза. Они ждали чего-то. Всегда ждут чего-то. — Учёт. Сколько овец. Сколько бронзы. Сколько женщин при мастерской и сколько им выдано зерна. Величайшая дешифровка века — и за ней складская опись. — Она пожала плечами, собирая мел в ладонь. — Не гимн, не молитва. Инвентарь. Кого-то это разочаровывает.

Её — нет. Ей было всё равно, что там написано. Ей было важно, что оно поддалось. Табличка молчала три тысячи лет, а потом кто-то расставил закорючки в решётку — и она заговорила, и было совершенно неважно, о чём. Голос сам по себе. Чей — дело десятое.

Она стёрла сетку одним движением рукава, как стирают что-то уже использованное.

— На следующей неделе — Кносс. Принесите распечатки, я не буду ждать, пока грузится экран.

⁂

Домой она шла пешком, хотя дождь не кончился. Полчаса от Рассел-сквер, и она знала каждую лужу на этом пути, каждую решётку водостока, которая не справлялась, каждый угол, где ветер бил в лицо. Ей нравилось приходить домой уже пустой — выговорившейся, отработавшей, — чтобы вечер лёг на чистое.

Марк готовил. Она услышала это ещё в прихожей: нож по доске, тихая музыка, что-то с чесноком на сковороде. Он всегда готовил по четвергам, у него это называлось «нормальный ужин», в противоположность остальным дням, когда они ели то, что привозили в картонных коробках. Он стоял у плиты в футболке, с телефоном, прислонённым к банке оливкового масла, и одним глазом смотрел на график, который для неё был таким же узором, как табличка для студентов.

— Как прошло, — сказал он, не оборачиваясь, и это был не вопрос, а то мягкое, домашнее, что говорят, чтобы человек знал: его ждали.

— Второкурсник назвал частотный анализ.

— Это плохо?

— Это очаровательно. Они всегда хотят посчитать. Считать проще, чем смотреть.

Он засмеялся, отложил телефон, и они на минуту стали просто двумя людьми на кухне, где пахло чесноком и было тепло, и дождь оставался снаружи, за стеклом, где ему и место. Ей было хорошо. Стоит сказать это прямо, потому что позже это будет трудно вспомнить: ей было по-настоящему хорошо. Марк был лёгкий. С ним ничего не приходилось объяснять дважды, и ничего не приходилось прятать, потому что он не искал спрятанного — брал то, что на поверхности, и на поверхности было довольно, чтобы жить.

За ужином он рассказывал про какой-то раунд, каких-то людей, которые то ли вложатся, то ли нет, и она слушала вполуха, тепло, как слушают воду. Они были вместе шесть лет. Расписаться не собрались — не из принципа, а потому что незачем было называть словом то, что и так работало. Он налил ей вина, она положила ему добавку, и ни разу за весь вечер между ними не встало ничего, чего нельзя сказать вслух.

Про её мать, например. Про то, откуда её скулы и почему она не любит про них говорить. Про женщину, которая когда-то её родила и которая теперь была где-то на другом конце города. Марк не спрашивал. Не потому что ему было всё равно — просто эта дверь в их доме была закрыта так давно, что перестала быть дверью и стала стеной, и на стену не смотрят.

⁂

Мать позвонила в воскресенье, как звонила примерно раз в месяц, всегда не вовремя.

— Ты занята.

— Немного. — Джейн прижала телефон плечом, не отрываясь от экрана, где лежала недоделанная статья. — Что случилось?

— Ничего не случилось. Я не могу просто так?

Могла. Но у матери «просто так» всегда имело второе дно, и Джейн за годы научилась ждать, когда оно покажется. Они поговорили о погоде, о том, что мать простыла, но уже почти поправилась, о соседке снизу, которую Джейн не помнила. Голос матери был, как всегда, чуть слишком светлый — тот особый глянец, за которым она держала всё, что не хотела показывать. «Восточная красота», — говорил когда-то отец, беззлобно, любуясь; Джейн выросла с этим словом и только позже поняла, что красота — это ещё и способ не пускать внутрь.

— Тётя Роза писала, — сказала мать между делом, и вот оно, второе дно. — Оттуда. Спрашивала про тебя.

— Кто такая тётя Роза?

— Ты её видела. Маленькая была. — Пауза, в которой мать решала, продолжать ли. — Они там все спрашивают. Ты же теперь известная.

— Я не известная, мам.

— Для них известная.

Джейн перестала печатать. Что-то в этом «оттуда» всегда сжимало ей горло — не тоской, а чем-то более тесным, вроде раздражения, которому она не знала имени. Оттуда. Как будто есть место, которое имеет на неё права, о которых её не спрашивали.

— Мама всё звала кого-нибудь из нас. Съездить. Хоть посмотреть. — Мать сказала это тихо, уже без глянца, и Джейн не сразу поняла, что «мама» тут — не она, а мать матери. Бабушка. Женщина из четырёх или пяти отрывочных летних приездов, старуха с сухими руками, которую Джейн помнила плохо и без нежности. — Так никто и не собрался.

— Мам, мне правда надо дописать.

Мать замолчала. Потом сказала — снова светло, снова глянцево, дверь захлопнулась:

— Конечно. Работай. Ты всегда работаешь.

И положила трубку первой, чего почти никогда не делала.

Джейн посидела немного, глядя не на экран, а мимо. Потом вернулась к статье. Курсор мигал в середине фразы про распределение слоговых знаков, и она не сразу вспомнила, что хотела написать.

Глава вторая

Письмо пришло от Дэвида Оку, и это само по себе было мелким событием, потому что Дэвид не писал просто так.

Они вместе учились — двадцать лет назад, ещё когда оба верили, что будут копать, а не сидеть при бумагах. Джейн осталась при бумагах по своей воле; Дэвид — потому что раскопками стало не прокормиться, а Sotheby's платил, и теперь он носил хорошие рубашки и определял, сколько стоит чужая древность. Раз или два в год он присылал ей что-нибудь на глаз — неофициально, по старой памяти, — когда через отдел проходило что-то, чего никто в здании толком не понимал. Обычно это оказывалось ерундой. Иногда — нет.

«Есть десять минут для старого друга? Прислал бы прямо, но ты знаешь наши правила. Заедешь?»

Она заехала в четверг, после занятий. Нью-Бонд-стрит, тихие ковры, свет, поставленный так, чтобы вещи казались дороже, чем они есть. Дэвид встретил её сам, провёл мимо стойки в маленькую комнату без окон, где на столе под лампой лежала папка.

— Спасибо, что пришла. Тут щекотливое.

— У вас всё щекотливое.

— Это особенно. — Он не сел, и она не села. — Владелец хочет выставить, наш человек посмотрел и сказал — не наше, подделка, вежливо отказать. А владелец упёрся. Требует второго мнения. Со стороны. Желательно с именем.

— И ты вспомнил обо мне.

— Я вспомнил, что ты единственная в этом городе, кто читает то, чего никто не читает. — Он открыл папку. — Хотя тут, кажется, никто ничего не читает. В том и вопрос.

В папке лежали фотографии и, отдельно, в плотном конверте, сами эстампажи — бумажные оттиски, снятые с чего-то давным-давно, пожелтевшие, ломкие по краям, с той особой мягкостью старой бумаги, которая держалась только потому, что её сто лет не тревожили. Джейн достала их бережно, двумя руками, разложила под лампой.

И на минуту забыла, что в комнате есть Дэвид.

Знаки шли двумя строками. Угловатые, резкие, с наклоном — так режут по твёрдому, по камню или по кости, а не пишут по мягкому. На первый, ленивый взгляд — руны. Всякий, кто видел древнетюркское письмо, сказал бы: руны, орхонского типа, степь, всё понятно. Именно так, наверное, и сказал их человек, прежде чем отмахнуться. Но Джейн смотрела дольше десяти секунд, а на одиннадцатой начинало быть видно, что нет.

Не руны. Похоже — и не они. Наклон другой. Два знака, которых в орхонском алфавите просто нет, — она знала этот алфавит, как знают собственную ладонь, и этих двух там не было. И порядок, в котором знаки сходились и расходились, был не тот; тюркские руны она прочла бы, не задумываясь, а это не читалось, оставалось узором, хотя всё в нём кричало, что это не узор.

— Ну? — сказал Дэвид.

— Кто написал заключение?

— А что?

— Кто бы ни написал, он посмотрел десять секунд. — Она не отрывала глаз от бумаги. — Увидел руны, решил, что имитация, закрыл папку. Это ленивая работа, Дэвид. Может, и подделка. Но не по той причине, по которой он так решил.

Дэвид смотрел на неё с тем выражением, которое она помнила ещё со студенчества, — смесью удовольствия и лёгкой опаски, как смотрят на собаку, взявшую след.

— Значит, посмотришь.

— Я не сказала.

— Ты уже смотришь полторы минуты и не моргаешь.

Она моргнула — нарочно, чтобы сбить его, — и отложила оттиск. Профессиональная осторожность вернулась вместе с движением. Это ничего не значило. Странный артефакт, неверно атрибутированный, каких десятки; интересная задача на вечер, не более. Ей нравилось, когда коллеги делали небрежно, а она — точно. Это было почти единственное тщеславие, которое она себе позволяла.

— Что о нём известно?

— Немного. — Дэвид перевернул верхний лист, показал оборот, где чужой рукой, старомодно, было надписано что-то выцветшее. — Оригинала нет. Есть только эти оттиски. Их сняли давно, ещё до всякой нормальной науки, где-то в степи, русская экспедиция, кажется. Сам предмет с тех пор потерян — не украден, просто потерян, знаешь, как теряется всё, что никому не показалось важным. Остались бумажки.

— То есть если оттиски уйдут в частные руки…

— То это всё. Больше читать будет нечего и не с чего. — Он пожал плечами, аккуратно, по-аукционному. — Поэтому я и позвал по-быстрому. Торги через две недели. Если хочешь смотреть — смотри теперь. После вторника всё уедет в чей-нибудь сейф, и мы с тобой больше этого не увидим.

Две недели. Она посмотрела на бумагу ещё раз — коротко, деловито, уже прикидывая, что унесёт домой в снимках, а что нужно ей вживую, при своём свете.

— Сделай мне полный комплект фотографий. Высокое разрешение, косой свет. И оборот тоже.

— Значит, да.

— Значит, посмотрю. Это не «да». Это «посмотрю».

Дэвид улыбнулся и не стал спорить, потому что знал её достаточно, чтобы понимать: у неё это одно и то же.

Глава третья

Провенанс оказался почти пустым, и это Джейн понравилось — пустоту она умела читать не хуже текста.

Sotheby's прислал всё, что у них было: короткую строку о поступлении, имя лондонского продавца, за ним — прочерк в несколько десятилетий, за прочерком — упоминание, что оттиски происходят из материалов некой русской экспедиции конца девятнадцатого века. Ни имени экспедиции, ни имени того, кто снимал. Так теряют не вещь — так теряют человека: не сразу, а слоями, пока от него не остаётся строчка «из материалов», в которой его самого уже нет.

Она начала с бумаги. Не с содержания — с самих эстампажей как предметов. У неё было хорошее фото косым светом, и под этим светом на обороте одного листа проступал бледный оттиск штампа, полустёртый, круглый, с обрывками кириллицы по ободу. Три вечера ушло на то, чтобы вытянуть из него достаточно букв. Ещё два — на то, чтобы связать штамп с собранием, которое дважды меняло владельцев и один раз — страну, и в описи которого, в самом низу, петитом, значилось поступление от частного лица с фамилией, ничего ей не говорившей.

Фамилия привела к экспедиции. Экспедиция — к отчёту, который никто не открывал так давно, что оцифрованные страницы висели в архиве нетронутые, с ошибками распознавания, с выцветшими на скане краями. И там, среди списков собранного — черепки, курганное золото, промеры насыпей, — стояла одна строка, из-за которой Джейн перестала на вечер быть просто любопытным экспертом.

«Оттиски письмен, снятые с камня близ урочища … препаратором Вагнером; подлинность сомнительна».

Вагнер. Не начальник экспедиции, не учёный с именем — препаратор, тот, кто снимает, чистит, упаковывает, кого в отчётах поминают в родительном падеже, если поминают вообще. И рядом с ним, тут же, приговор: подлинность сомнительна. Полторы строки, и в них — вся его судьба, если знать, куда смотреть. Джейн знала.

Дальше она пошла уже не как эксперт, а как человек, в котором проснулся азарт. Вагнер отыскивался трудно и по кускам. Немец на русской службе — тогда таких было много, — из тех, кто едет в степь за жалованье и остаётся в ней ради чего-то другого, что вырастает внутри и чему нет названия. Он снял оттиски с камня и клялся, что видел его своими глазами. Привёз. И камень — единственное доказательство — по дороге ли, в неразберихе ли экспедиционного имущества, но исчез. Осталось то же, что лежало теперь на столе у Джейн: бумага. Слова на бумаге и человек, который божился, что за ними стоял камень.

Ему не поверили. Она нашла это в переписке — не сразу, но нашла: ровные, вежливые, убийственные строки старшего в экспедиции, учёного с весом, чьё имя знали и после смерти. Что препаратор, при всём старании, не обучен, что знаки не отвечают ни одному известному письму, что похоже на неумелую имитацию тюркских рун, что подобные казусы известны и репутации науки только вредят. Всё гладко. Ни одного грубого слова. Просто человек с именем поставил свою подпись под словом «имитация» — и этого хватило.

Вагнера не стало через несколько лет, в бедности, без должности, в чужом городе. О причине источники молчали, и это молчание Джейн читала слишком легко. Он до конца настаивал, что камень был. Об этом он писал в двух-трёх письмах, всё более коротких, всё более безнадёжных, — письмах человека, который знает, что говорит правду, и видит, что правда никого не интересует, потому что весит меньше, чем подпись того, кто сказал «нет».

Джейн сидела над этим допоздна, в круге настольной лампы, и оттиски лежали рядом, те самые. Она поймала себя на неприятной мысли: между Вагнером и тем, кто его похоронил одной строкой, не стоял вопрос, кто прав. Стоял вопрос, кого слушают. Препаратор увидел то,

чего не видел учёный, — и потому оказался лжецом. Не потому что солгал. Потому что был один против того, кто уже всё решил.

Она привыкла к другому: истина не зависит от того, кто её произносит, знаки либо складываются, либо нет, подпись под заключением ничего не прибавляет к самим знакам. Так её учили, и так она учила сама. Но было поздно, и лампа горела узко, и на столе лежала бумага человека, которому не поверили, — и Джейн впервые за много лет подумала, что читать умеют не только текст. Иногда читают того, кто его принёс. И решают заранее.

Она отодвинула письма. Это ничего не меняло в задаче. Подлинны оттиски или нет — решится не сочувствием к мёртвому немцу, а самими знаками, тем, сложатся они или останутся узором. Она это знала.

Но спать в ту ночь легла, не погасив мысль до конца, и это было ново.

Глава четвёртая

Она не собиралась ни с кем советоваться. Вышло случайно.

Через неделю в SOAS был один из тех приёмов, которые Джейн не любила и не пропускала, — вино в пластиковых стаканах, разговоры о грантах, лица, которые надо было увидеть, чтобы про тебя не забыли. Там был и Хэлловелл. Сэр Ричард Хэлловелл, если полностью, — он был из тех немногих в этой области, кому титул шёл, потому что стоял за делом, а не за выслугой. Полвека в центральноазиатской эпиграфике, книги, которые Джейн читала студенткой и по которым потом учила сама. Он был стар, точен и добр той особой добротой сильных людей, которая тяжелее иной строгости. Он когда-то написал ей рекомендацию, не будучи обязан. Она это помнила.

— Джейн. — Он всегда звал её так, полным именем, и в его устах это звучало не по-казённому, а почти отечески. — Говорят, вы взялись читать призраков.

Она удивилась, что слух дошёл.

— Дэвид Оку болтлив.

— Дэвид Оку продаёт вещи. Ему полезно, чтобы говорили. — Хэлловелл улыбнулся, но глаза остались внимательными. — Степные оттиски. Без камня. Атрибуция сомнительная.

— Атрибуция ленивая. Это другое.

— Может быть. — Он взял её под локоть, мягко отвёл на два шага, к окну, где было тише. — Позвольте старику. Я эти оттиски знаю. Не эти — такие. Их всплывало несколько за мою жизнь, и каждый раз находился кто-то, кто был уверен, что вот теперь-то. Знаете, чем кончалось?

— Расскажите.

— Ничем. Всегда ничем. — Он говорил без нажима, ровно, как говорят вещи, в которых уверены давно. — Был такой Вагнер, ещё при царе. Снял такие же и клялся камнем, которого никто не видел. Кончил плохо. С тех пор это почти учебный случай — как не надо. Способный человек берётся за красивую невозможность и тратит на неё то, что мог потратить на настоящее. Я видел это не раз. Всякий раз жаль.

Джейн слушала и чувствовала, как внутри что-то встаёт против — не против его правоты, а против лёгкости, с которой Вагнер превратился в пример. Она три вечера читала его письма. Она знала, как он умер и с каким лицом, наверное, писал последние строки. А здесь, у окна, с пластиковым стаканом, он стал «учебным случаем, как не надо», аргументом в добром совете. Между этими двумя Вагнерами была вся разница, которую она не могла объяснить, не показавшись сентиментальной, — и потому промолчала.

— Вы полагаете, я трачу время, — сказала она вместо этого.

— Я полагаю, что у вас есть имя, и вы слишком молоды, чтобы им рисковать. — Он посмотрел на неё прямо, и доброта в его взгляде была настоящей, оттого и тяжёлой. — Прочтите, если хотите. Любопытство — не грех. Но не подписывайтесь под этим. Не ставьте своё «подлинно» там, где больше ста лет стояло «подделка». Вас будут помнить не по тому, что вы прочли, а по тому, где вы ошиблись. Это несправедливо. Но это так.

Он отпустил её локоть, кивнул кому-то за её спиной и отошёл — вернулся в зал, к другим лицам, оставив её у окна с ощущением, будто её осторожно, из самых добрых побуждений, попросили не мешать.

⁂

Марк сказал то же самое, только по-своему.

— Подожди, я не понял. — Он отставил тарелку. — Тебе показали бумажки, которые сто лет считались фальшивкой, автора которых затравили насмерть, и предупредили, что, если ты за это возьмёшься, будет то же самое. И ты берёшься.

— Я не берусь. Я читаю.

— Джейн. — Он редко звал её полным именем; когда звал, значит, был серьёзен. — Ты в последние дни спишь по четыре часа. Я вижу свет под дверью. Ты «читаешь» так, как другие не работают.

Она хотела возразить и не нашла чем. Он был прав по фактам. Она действительно не спала. Она действительно приходила к этим оттискам каждый вечер, хотя дела на неделю не было ни на грош, хотя ничего в её жизни не зависело от того, что там нацарапано.

— У тебя всё хорошо, — сказал он тише, без укора, почти умоляюще-разумно. — У тебя кафедра, имя, я. Зачем тебе то, на чём ломаются? Ты же сама рассказывала — этот твой Вентрис разбился на машине через несколько лет после того, как всё доказал. Как будто, когда разгадал, стало незачем жить.

— Это не связано.

— Может, и не связано. — Он пожал плечами и стал собирать тарелки, и разговор на этом кончился, как кончались все их разговоры — мирно, без победителя, потому что побеждать было не в его характере и не в их привычке.

Он был прав. Хэлловелл был прав. Оба, с двух сторон, говорили одно, и оба любили её по-своему, и оба хотели ей только хорошего, и оба были правы. Разумнее всего было отдать Дэвиду вежливое заключение — «атрибуция требует уточнения, датировка невозможна, рекомендую воздержаться» — и вернуться к живым делам.

Ночью она снова сидела над оттисками.

Она не смогла бы сказать, зачем. Не из упрямства — упрямство она за собой знала и умела гасить. И не из-за Вагнера, хотя Вагнер был где-то рядом. Просто, глядя на эти два ряда резких, наклонных знаков, она чувствовала не любопытство, которому есть имя, а что-то под ним, глуше, — как чувствуешь под полом слабую дрожь от поезда, которого не слышно. Что-то в ней держалось за эту бумагу помимо неё самой, и это было ей неприятно, потому что она привыкла знать причины своих поступков, а этой причины не находила.

Она списала это на усталость и недосып. Так было проще. И осталась над столом ещё на час.

Глава пятая

К пятому вечеру она перепробовала всё, что знала, и это было унизительно.

Джейн работала, как учила студентов, — от структуры, не от смысла. Расчертила сетку, вынесла каждый знак, посчитала, что с чем стоит, что открывает строку, что закрывает, что не встречается рядом ни разу. Знаков было немного — двадцать с чем-то различимых, — и этого хватало, чтобы увидеть: система есть. Не орнамент. Знаки вели себя как письмо, повторялись не случайно, держали позиции. Что-то здесь было записано, и записано человеком, который знал, что делает.

Но оно не читалось.

Она приложила тюркский ключ — тот самый, орхонский, который всякий приложил бы первым, увидев такой наклон. Знаки, похожие на рунические, легли на свои тюркские значения, и получилась каша. Не язык — набор слогов, не складывающийся ни в одно слово ни одного тюркского наречия, которое она знала, а знала она их много. Там, где по-тюркски должна была стоять гласная, стоял тот самый лишний знак, которого в орхонском алфавите не было, и он ломал всё, как один неверный зуб ломает ключ в замке.

Она отложила тюркский и взяла иранское направление — скифское, сакское, всё, что могло звучать в этой степи до тюрок. Стало не лучше, а по-другому плохо: отдельные сочетания начинали дразнить сходством с чем-то, тут же обрывались в бессмыслицу. Она пробовала читать справа налево, потом бустрофедоном, туда-обратно, как пашут поле. Пробовала считать знаки не звуками, а слогами, потом не слогами, а целыми словами. Каждый ход был разумен. Каждый ход давал стену.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.